

Легенды и сказки Крыма

Новелла И. А. Бунина "Темир-Аксак-Хан" (Париж, 1921)

— А-а-а, Темир-Аксак-Хан! — дико вопит переливчатый, страстно и безнадежно тоскливый голос в крымской деревенской кофейне. Весенняя ночь темна и сыра, черная стена горных обрывов едва различима. Возле кофейни, прилепившейся к скале, стоит на шоссейной дороге, на белой грязи, открытый автомобиль, и от его страшных, ослепительных глаз тянутся вперед, в темноту, два длинных столпа светлого дыма. Издалека, снизу, доносится шум невидимого моря, со всех сторон веет из темноты влажный беспокойный ветер.

В кофейне густо накурено, она тускло озарена жестяной лампочкой, привешенной к потолку, и нагрета грудой раскаленного жара, рдеющего на очаге в углу. Нищий, сразу начавший песню о Темир-Аксак-Хане мучительным криком, сидит на глиняном полу. Это столетняя обезьяна в овчинной куртке и лохматом бараньем курпее, рыжем от дождей, от солнца, от времени. На коленях у него нечто вроде деревянной грубой лиры. Он согнулся — слушателям не видно его лица, видны только коричневые уши, торчащие из-под курпея. Изредка вырывая из струн резкие звуки, он вопит с нестерпимой, отчаянной скорбью.

Возле очага, на табурете, — женственно полный, миловидный татарин, содержатель кофейни. Он сперва улыбался, не то ласково и чуть-чуть грустно, не то снисходительно и насмешливо. Потом так и застыл с поднятыми бровями и с улыбкой, перешедшей в страдальческую и недоуменную. На лавке под окошечком курил хаджи, высокий, с худыми лопатками, седобородый, в черном халате и белой чалме, чудесно подчеркивающей темную смуглость его лица. Теперь он забыл о чубуке, закинул голову к стене, закрыл глаза. Одна нога, в полосатом шерстяном чулке, согнута в колене, поставлена на лавку, другая, в туфле, висит.

А за столиком возле хаджи сидят те проезжие, которым пришло на ум остановить автомобиль и выпить в деревенской кофейне по чашечке дрянного кофе: крупный господин в котелке, в непромокаемом английском пальто и красивая молодая дама, бледная от внимания и волнения. Она южанка, она понимает по-татарски, понимает слова песни... — А-а-а, Темир-Аксак-Хан!

Не было во вселенной славнее хана, чем Темир-Аксак-Хан. Весь подлунный мир трепетал перед ним, и прекраснейшие в мире женщины и девушки готовы были умереть за счастье хоть на мгновение быть рабой его. Но перед кончиною сидел Темир-Аксак-Хан в пыли на камнях базара и целовал лохмотья проходящих калек и нищих, говоря им: — Выньте мою душу, калеки и нищие, ибо нет в ней больше даже желания желать!

И когда Господь сжалился наконец над ним и освободил его от суетной славы земной и суетных земных утех, скоро распались все царства его, в запустение пришли города и дворцы, и прах песков замел их развалины под вечно синим, как драгоценная глазурь, небом и вечно пылающим, как адский огонь, солнцем.. А-а-а, Темир-Аксак-Хан! Где дни и дела твои? Где битвы и победы? Где те, юные, нежные, ревнивые, что любили тебя, где глаза, сиявшие, точно черные солнца, на ложе твоём?

Все молчат, все покорены песней. Но странно: та отчаянная скорбь, та горькая укоризна кому-то, которой так надывается она, слаще самой высокой, самой страстной радости. Проезжий господин пристально смотрит в стол и жарко раскуривает сигару. Его дама широко раскрыла глаза, и по щекам ее бегут слезы. Посидев некоторое время в оцепенении, они выходят на порог кофейни. Нищий кончил песню и стал жевать, отрываясь от тугой лепешки, которую подал ему хозяин. Но кажется, что песня еще длится, что ей нет и не будет конца.

Дама, уходя, сунула нищему целый золотой, но тревожно думает, что мало, ей хочется вернуться и дать ему еще один — нет, два, три или же при всех поцеловать его жесткую руку. Глаза ее еще горят от слез, но у нее такое чувство, что никогда не была она счастливее, чем в эту минуту, после песни о том, что все суета и скорбь под солнцем, в эту темную и влажную ночь с отдаленным шумом невидимого моря, с запахом весеннего дождя, с беспокойным, до самой глубины проникающим ветром.

Шофер, полулежавший в экипаже, поспешно выскакивает из него, наклоняется в свет от фонарей, что-то делает, похожий на зверя в своей точно вывернутой наизнанку шубе, и машина вдруг оживает, загудев, задрожав от нетерпения. Господин помогает даме войти, садится рядом, покрывая ее колени пледом, она рассеянно благодарит его... Автомобиль несется по раскату шоссе вниз, взмывает на подъем, упираясь светлыми столпами в какой-то кустарник, и опять смахивает их в сторону, роняет в темноту нового спуска... В вышине, над очертаниями чуть видных гор, кажушихся исполинскими, мелькают в жидких облаках звезды, далеко впереди чуть белеет прибором излучина залива, ветер мягко и сильно бьет в лицо...

О, Темир-Аксак-Хан, говорила песня, не было в подлунной отважней, счастливей и славнее тебя, смуглоликий, огнеглазый — светлый и благостный, как Гавриил, мудрый и пышный, как царь Сулейман! Ярче и зеленей райской листвы был Шелк твоего тюбана, и семицветным звездным огнем дрожало и переливалось его алмазное перо, и за счастье прикоснуться кончи-ком уст к темной и узкой руке твоей, осыпанной индийскими перстнями, готовы были умереть прекраснейшие в мире царевны и рабыни.

Но, до конца испив чашу земных утех, в пыли, на базаре сидел ты, Темир-Аксак-Хан, и ловил, целовал рубище проходящих калек: — Выньте мою страждущую душу, калеки! И века пронесли над твоей забвенной могилой, и пески замели развалины мечетей и дворцов твоих под вечно синим небом и безжалостно радостным солнцем, и дикий шиповник пророс сквозь останки лазурных фаянсов твоей гробницы, чтобы, с каждой новой весной, снова и снова томились на нем, разрывались от мучительно-сладостных песен, от тоски несказанного счастья сердца соловьев А-а-а, Темир-Аксак-Хан, где она, горькая мудрость твоя? Где все муки души твоей, слезами и желчью исторгнувшей вон мед земных обольщений?

Горы ушли, отступили, мимо шоссейной дороги мчится уже море, с шумом и раковым запахом избегающее на белый хрящ берега Далеко впереди, в темной низменности, рассыпаны красные и белые огни, сует розовое зарево юрода, и ночь над ним и над морским заливом черна и мягка, как сажа.